




андрей

ВОЗНЕСЕНСКИЙ



**лирических
отступлений
из поэмы
ТРЕУГОЛЬНАЯ
ГРУША**

андрей **в**ознесенский

вознесенский

андрей

ТРЕУГОЛЬНАЯ ГРУША



**лирических
отступлений
из поэмы**

Советский писатель
Москва 1952

ОТ АВТОРА

Я работаю над большой сюжетной вещью. Она — об «открытии Америки». В основу ее легли мои американские впечатления. Но в процессе работы воспоминания, жизнь, пейзажи России и Прибалтики врываются в повествование, отвлекали автора от магистрали сюжета.

«Открывались» совершенно иные предметы. В герои лезли березы, закаты, мотоциклы.

Поэма тонула как переполненный корабль. Параллельно с ней возник самостоятельный организм — «поэма лирических отступлений». Стихи перетасовались произвольно, вне тематики и географии, как мысли в голове. Их автор и предлагает вниманию читателя.

Стихи имеют самостоятельную жизнь, характер. Иногда они помимо воли автора отказываются от грамматики. Иногда этого требует фантастический сюжет. Например, начина-

ет говорить отрубленная голова. Тут уж не до знаков препинания! В других случаях мелодия требует раскованности, высоты, она бесконечна, как заключительная нота певца. Тогда ей опять мешают ограды из точек и запятых.

В сборник включены отрывки из дневников, газетных репортажей. Без них не представляю ни себя, ни поэзии.

**Будь лирическим наступлением,
преступление отступать!**

***А. Вознесенский
1959 год***

Ты их, прибитых,
 возвышаешь.
Ты им «Прибытые»
 возвещаешь!

Лётное поле

Ждут кавалеров, судеб, чемоданов, чудес...
Пять «Каравелл»
 ослепительно
 сядут с небес!

Пять полунощниц шасси выпускают устало.
Где же шестая?

Видно, допрыгалась —
 дрянь, аистенок, звезда!..

Электроплитками
 пляшут под ней города.

Где она реет,
 стонет, дурит?

И сигареткой
 в тумане горит?..

Она прогноз не понимает.
Ее земля не принимает.

Интерьер

Худы прогнозы. И ты в ожидании бури,
Как в партизаны, уходишь в свои вестибюли.
Дрыхнут правительства

в парах беспечных.

Тих, как провизор, им трассы пророчит диспетчер.
Мощное око взирает в иные миры.
Мойщики окон

слезят тебя, как мошкара,

Звездный десантник, хрустальное чудище,
Сладко, досадно

быть сыном будущего,

Где нет дураков

и вокзалов-тортов —

Одни поэты и аэропорты!

Стонет в аквариумном стекле
Небо,
приваренное к земле.

Конструкции

Аэропорт — озона и солнца
Аккредитованное посольство!

Сто поколений
не смели такого коснуться —

Преодоленья
несущих конструкций.

Вместо каменных истуканов

Стынет стакан синевы —
без стакана.

Рядом с кассами-теремами

Он, точно газ,
антиматериален!

Бруклин — дурак, твердокаменный черт

Памятник эры —

Аэропорт.

Открывайся, Америка!
Эврика!

Короную Емельку,
 открываю, сопя,
В Америке — А м е р и к у,
В себе —
 с е б я.

Рву кожуру с планеты,
 сметаю пыль и тлен,
Спускаюсь
 в глубь
 предмета,

Как в метрополитен.

Там груши — треугольные,
 ищу в них души голые.
Я плод трапецевидный
 беру не чтоб глотать —

Обожаю
Твой пожар этажей, устремленных к окрестностям рая!
Я — борзая,
узнавшая гон наконец, я — борзая!
Я тебя догоню и породу твою распознаю.
По базарному дну
ты, как битница, дуешь, босая!

Под брандспойтом шоссе мои уши кружились,
как мельницы,
По безбожной,
бейсбольной,
по бензоопасной Америке!

Кока-кола. Колокола.
Вот нелегкая занесла!

Ты, чертовски дразня, сквозь чертоги вела и задворки,
И на женщин глаза
отлетали, как будто затворы!

Мне на шею с витрин твои вещи дешевками вешались.
Но я душу искал,
я турил их, забывши про вежливость.
Я спускался в Бродвей, как идут под водой с аквалангом.
Синей лампой в подвале
плясала твоя негритянка!
Я был рядом почти, но ты зябко ушла от погони.
Ты прочти и прости,
если что в суматохе не понял...

Я на крыше, как пном, над нью-йоркской стою планировкой.
На мизинце моем
твое солнце — как божья коровка.

Стриптиз

В ревью
танцовщица раздевается, дуря...
Реву?..
Или режут мне глаза прожектора?

Шарф срывает, шаль срывает, мишуру.
Как сдирают с апельсина кожуру.

А в глазах тоска такая, как у птиц.
Этот танец называется «стриптиз».

Страшен танец. В баре лысины и свист,
Как пиявки
глазки пьяниц налились.
Этот рыжий, как обляпанный желтком,
Пневматическим исходит молотком!
Тот, как клоп, —
апоплексичен и страшон.
Апокалипсисом воет саксофон!

Проклинаю твой, Вселенная, масштаб,
Марсианское сиянье на мостах,
Проклинаю,
 обожая и дивясь,
Проливная пляшет женщина под джаз!..

«Вы Америка?» — спрошу, как идиот.
Она оядет, сигаретку разомнет.

«Мальчик, — скажет, — ах, какой у вас акцент!
Закажите мне martini и absent».

Лобная баллада

Их величеством поразвлекся
Прет народ от Коломн и Клязьм.

«Их любовница —

контрразведчица,

англо-шведско-немецко-греческая...»

Казнь!

Царь страшон: точно кляча, тощий,

Почерневший, как антрацит.

По лицу проносятся очи,

Как буксующий мотоцикл.

И когда голова с топорика

Подкатилась к носкам ботфорт,

Он берет ее

над толпою,

Точно репу с красной ботвой!

Пальцы в щеки впились, как клещи,
Переносицею хрустя,
Кровь из горла на брюки хлещет.
Он целует ее в уста.

Только Красная площадь ахнет,
Тихим стоном оглушена:
«А-а-анхен!..»
Отвечает ему она:

«Мальчик мой государь великий
не судить мне твоей вины
но зачем твои руки липкие
солоны

баба я
вот и вся провинность
государства мои в устах
я дрожу брусничной кровиночкой
на державных твоих усах

в дни строительства и пожара
до малюсенькой ли любви?

ты целуешь меня Держава
твои губы в моей крови

Отступление для голоса и тамтама

Поют негры

Мы —

тамтамы гомеричные с глазами горемычными, клубимся,
как дымы, —
мы...

Вы —

белы, как холодильники, как марля карантинная,
безжизненно мертвы...
вы...

○ чем мы поем вам, уважаемые джентльмены?

○

руках ваших из воска, как белая известка, о, как они
впечатались между плечей печальных, о, наших жен
печальных, как их позорно жгло —
о-о!

«Но-но!» —

нас лупят, точно клячу, мы чаевые клянчим, на рингах и на
рынках у нас в глазах темно,

но,

когда ночами спим мы, мерцают наши спины, как звездное
окно.

В нас,

боксерах, гладиаторах, как в черных радиаторах, или в пруду
караль,

созвездья отражаются

торжественно и жалостно —

Медведица и Марс —

в нас...

Мы — негры, мы — поэты,

в нас плещутся планеты.

Так и лежим, как мешки, полные звездами и легендами...

Когда нас бьют ногами,

пинают небосвод.

У вас под сапогами

Вселенная орет!

Нью-Йоркская птица

На окно ко мне садится
в лунных вензелях
алюминиевая птица —
вместо тела

фюзеляж

и над ее шеей гайковой
как пламени язык
над гигантской зажигалкой
подыхает

женский

лик!

(В простынь капиталистическую
Завернувшись, спит мой друг.)

кто ты? бред кибернетический?
полуробот? полудух?
помесь королевы блюза
и летающего блюда?

может ты душа Америки
уставшей от забав?
кто ты юная химера
с сигареткою в зубах?

но взирают не мигая
не отерши крем ночной
очи как на Мичигане
у одной

у нее такие газовые
под глазами синячки
птица что предсказываешь?
птица не солги!

что ты знаешь сообщаешь?
что-то странное извне
как в сосуде сообщающемся
подымается во мне

век атомный стонет в спальне...

(Я юру. И, матерясь,
Мой напарник, как ошпаренный,
Садится на матрас.)

Антимиры

Живет у нас сосед Букашкин,
Бухгалтер цвета промокашки,
Но, как воздушные шары,
Над ним горят

Антимиры!

И в них, магический как демон,
Вселенной правит, возлежит
Антибукашкин, академик,
И щупает Лоллобриджид.

Но презятся Антибукашкину
Виденья цвета промокашки.

Да здравствуют Антимиры!
Фантасты — посреди муры.

Без глупых не было бы умных.
Оазисов — без Каракумов.

Нет женщин —
 есть антимужчины.
В лесах режут антимашины.
Есть соль земли. Есть сор земли.
Но сохнет сокол без змеи.

Люблю я критиков моих.
На шее одного из них,
Благоуханна и гола,
Сияет антиголова!

...Я сплю с окошками открытыми.
А где-то свищет звездопад.
И небоскребы
 сталактитами
На брюхе глобуса висят.
И подо мной
 вниз головой,
Вонзившись вилкой в шар земной,
Беспечный, милый мотылек,
Живешь ты,
 мой антимирок!

Зачем среди ночной поры
Встречаются антимир?

Зачем они вдвоем сидят
И в телевизоры глядят?

Им не понять и пары фраз.
Их первый раз — последний раз.

Сидят, забывши про бонтон.
Ведь будут мучиться потом.

И ушки красные горят,
Как будто бабочки сидят...

...Знакомый лектор мне вчера
Сказал: «Антимиры? — Мура!...»
Я сплю, ворочаюсь спросонок.
Наверно, прав научный хмырь.

Мой кот как радиоприемник
Зеленым глазом ловит мир.

Я сослан в себя
я — Михайловское
горят мои сосны смыкаются

в лице моем мутном как зеркало
смеркаются лоси и пергалы

природа в реке и во мне
и где-то еще — извне

три красные солнца горят
три рожи как стекла дрожат

три женщины брезжут в одной
как матрешки — одна в другой

одна меня любит смеется
другая в ней птицей бьется

а третья — та в уголок
забилась как уголек

она меня не простит
она еще отомстит

мне светит ее лицо
как со дна колодца — кольцо

Гитара

Меж перца и малаг
под небом модных хижин
костлявый как бурлак
певец был юн и хищен

и огненной настурцией
робея и наглея
гитара как натурщица
лежала на коленях

она была смирней
чем в таинстве дикарь
и темный город в ней
гудел и затихал

а то как в реве цирка
вся не в своем уме —
горящим мотоциклом
носилась по стене!

мы — дети тех гитар
отважных и дрожащих
между подруг дражайших
неверных как янтарь

среди ночных фигур
ты губы морщишь едко
к ним как бикфордов шнур
крадется сигаретка

Быют женщину

Быют женщину. Блестит белок.
В машине темень и жара.
И быются ноги в потолок,
Как белые прожектора!

Быют женщину. Так быют рабынь.
Она в заплаканной красе
Срывает ручку, как рубильник,
Выбрасываясь
на шоссе!

И взвизгивали тормоза.
К ней подбегали, тормоша.
И волочили и лупили
Лицом по лугу и крапиве...

Подонок, как он бил подробно,
Стиляга, Чайльд-Гарольд, битюг!

Вонзался в дышащие ребра
Ботинок, узкий, как утюг.

О, упоенье оккупанта,
Изыски деревенщины...
Сминая лунную купаву,
Бьют женщину.

Бьют женщину. Веками бьют,
Бьют юность. Бьет торжественно
Набата свадебного гуд.
Бьют женщину.

А от жаровен на щеках
Горящие затрешины?
Мещанство, быт — да еще как! —
Бьют женщину.

Но чист ее высокий свет,
Отважный и божественный.
Религий — нет,
знамений — нет.

Есть
Женщина!..

Она как озеро лежала
стояли очи как вода
и не ему принадлежала
как просека или звезда

и звезды по небу стучали
как дождь о черное стекло
и скатываясь
остужали
ее горячее чело

Осень в Сигулде

Свисаю с вагонной площадки,
прощайте,

прощай, мое лето,
пора мне,
на даче стучат топорами,
мой дом забивают дощатый,
прощайте,

леса мои сбросили кроны,
пусты они и грустны,
как ящик с аккордеона,
а музыку — унесли,

мы — люди,
мы тоже порожни,
уходим мы,
так уж положено,

из стен,
 матерей
 и из женщин,
и этот порядок извечен,

прощай, моя мама,
у окон
ты станешь прозрачно, как кокон,
наверно, умаялась за день,
присядем,

друзья и враги, бывайте,
гуд бай,
из меня сейчас
со свистом вы выбегаете
и я уйду из вас,

о родина, попрощаемся,
буду звезда, ветла,
не плачу, не попрошайка,
спасибо, жизнь, что была,

на стрельбищах в 10 баллов
я пробовал выбить 100,

спасибо, что ошибался,
но трижды спасибо, что́

в прозрачные мои лопатки
вошла гениальность, как
в резиновую
перчатку
красный мужской кулак,

«Андрей Вознесенский» — будет,
побыть бы не словом, не бульдиком,
еще на щеке твоей душной —
«Андрюшкой»,

спасибо, что в рощах осенних
ты встретила, что-то спросила,
и пса волокла за ошейник,
а он упирался,
спасибо,

я ожил, спасибо за осень,
что ты мне меня объяснила,
хозяйка будила нас в восемь,
а в праздники сипло базила

пластинка блатного пошиба,
спасибо,

но вот ты уходишь, уходишь,
как поезд отходит, уходишь.
из пор моих полых уходишь,
мы врозь друг из друга уходим,
чем нам этот дом неугоден?

ты рядом и где-то далеко,
почти что у Владивостока,

я знаю, что мы повторимся
в друзьях и подругах, в травинках,
нас этот заменит и тот, —
природа боится пустот,

спасибо за сдутые кроны,
на смену придут миллионы,
за ваши законы — спасибо,

но женщина мчится по склонам,
как опенный лист за вагоном...

Спасите!

Отступления в виде монологов битников

Первый монолог

Лежу, бухой и эпохальный.

Постигаю Мичиган.

Как в губке, время набухает
В моих веснушчатых щеках.

В лице, лохматом как берлога,

лежат озябшие зрачки.

Перебираю, как брелоки,
Прохожих, огоньки.

Ракетодромами гремя,

дождями атомными рея,

Плевало время на меня.

Плюю на время!

Политика? К чему валандаться!

Цивилизация душна.

Вхожу как в воду с аквалангом

В тебя, зеленая душа...

Мы — битники. Среди хулы
мы — как звереныши, волчата,
Скандалы точно кандалы
За нами с лязгом влочатся.

Когда мои джазисты ржут,
с опухшей рожей скомороха,
Вы думали — я шут?
Я — суд!
Я — Страшный суд. Молись, эпоха!

Мой демонизм — как динамит,
Созрев, тебя испепелит.

Второй монолог. Бунт машин

Э. Неизвестному

Бегите — в себя, на Гаити, в костелы, в клозеты,
в Египты —
Бегите!

Нас темные, как Батыи,
Машины поработили.

В судах их клеветы наглые,
Из рюмок дуя бензин,
Вычисляют: кто это в Англии
Вел бунт против машин?
Бежим!..

А в ночь, поборовши робость,
Создателю своему
Кибернетический робот:

«Отдай, — говорит, — жеңу!
Имею слабость к брюнеткам, — говорит. — Люблю
на тридцати оборотах. Лучше по-хорошему уступите!..»

О хищные вещи века!
На душу наложено вето.
Мы в горы уходим и в бороды,

Ныржаем голыми в воду,
Но реки мелеют, либо
В морях умирают рыбы...

От женщин рольс-ройсы рождаются...
Радиация!..

...Душа моя, мой звереныш,
Меж городских кулис
Щенком с обрывком веревки
Ты носишься и скулишь!

А время свистит красиво
Над огненным Теннесси,
Загадочное, как сирий
С дюралевыми шасси.

и вот три вечера подряд не вылезая из Гринвич Вилидж, живописного, сумбурного квартала нью-йоркской богемы. Бородатый сфинкс битничества бросает загадку за загадкой.

Над пестрым кафе надпись: «Уа?» Что такое «Уа?»? «О, «Уа» — это вопль современного нутра», — отвечают нам. Что ж, послушаем.

В подвальчике темно и загадочно. С потолка свисают водопроводные трубы. Читается ритмическая проза под джаз. Непроспавшийся дикобраз в прорванном хитоне, как в маскхалате, встречает посетителей у двери. Из прорех хитона дымится его волосатое нутро. «Уа?»...

Эпатаж буржуазии? Или модная экзотика?..

Мои наброски не могут дать полной картины Америки. Они похожи на съемки из кабины лифта, мчащегося между освещенными этажами.

Архитектура?

Мне понравился музей Гуггенхайма — лебединая песнь гениального Ллойда Райта. Представьте себе ослепительную, упругую спираль, уносящуюся в небо! Спускаясь по виткам этой спирали, по наклонному полу, пандусу, вы осматриваете картинную галерею. Движение вниз не утомляет.

Таланты рождаются парами. Искусства — сообщающиеся сосуды. В них существуют двойники. Это легче понять в жи-

вописи. Так, например, наив и чистота Заболоцкого аukaются с примитивами Анри Руссо, буйные поливные блюда Пикассо говорят о Лорке больше, чем тысячи переводов, а оптимистический напев А. А. Прокофьева ассоциируется с Шинкиным и резбой на коньке колхозного клуба. Что-то большее, чем интерес, часами пригвождает меня к гипнотической живописи Жана Миро. Я чувствую странную близость его тревожных фантазий.

Музей сам — произведение искусства. Фруктовые пятна Матисса, миражи Клее нашли наконец для себя подходящую раму. Стены музея слегка вогнуты, так что картины висят, не касаясь стены, как бы парят в воздухе. Спираль — символ движения, и если хотите — жизни.

Интересно, что когда американский музей был еще в постройке, я — студент Московского Архитектурного — рисовал на своих подрамниках какие-то немислимые спирали. Мой выставочный павильон был задуман по тому же принципу. И сейчас, вглядываясь в ввинчивающуюся в небо кривую, — пусть не мою, а райтовскую, — я с восторгом думаю об общности человеческой фантазии.

Оглушают, ослепляют американские эстакады, рынки, заваленные омарами, грейпфрутами, эти дороги как магнитфонные ленты, наполненные криком, ревом, музыкой. Но иногда среди этой пестроты что-то вдруг тревожно хватало

В эмигрантском ресторане

Сволочь? дымен, точно войлок.
Сволочь? бел, как альбинос.
Мою водку дует сволочь.
Сволочь? чавкает блином.

(Ресторанчик «Русский мишенька»
Говорили: не ходи.
В кадушке,
 будто нищенка,
Березка в бигуди...

А за стойкой, как на ветке,
Угощают парочек.
В них вонзились табуретки,
Как булавки в бабочек!)

Враг мой? сволочь? отщепенец?
Ненавидя, пивом пенясь,
Что ты пялишься в упор?!
Сволочь? я не прокурор!

Двадцать лет сидят напротив,
Как экран, лицом горят.
Отступающие бродят.
И конвои в лагерях —
«немецких, английских, северно-,
потом южноамериканских, вы понимаете,
Вознесенский?!..»

Посреди Вселенных сшибленных,
На маховиках судьбы
Блещут лунными подшипниками
Эти лагерные лбы.
«Нас крутили, молотили
Джазы, ливни, этажи...
Миллионы холодильников —
Ни души!..»

Ужас водкой дышит около:
«Вознесенский, вы откель?»
Он окает,
как охает.
О'кей!

За окошком марсианочки,
Так их мать...

А окою осиянною
 Ходит окунь — не поймать,
 И торжественная тишь.
 Тсс!..
 И серебряно-черны
 От ночной травы штаны...
 «Роса там у нас, трава там у вас по колено.
 Вознесенский, вы понимаете?!»

Из щетин его испитых,
 Из трясины страшных век,
 Как пытаемый из пыток,
 Вырывался синий свет —
продирался человек!

По лицу леса шумели,
 Шли дожди, пасли телят,
 Вырывалось из туннеля,
 Что он страшно потерял.

И отвесно над щекою
 Плыли отсветы берез,
 Плыли страшно и щекотно.
 И не слизывал он слез.

И раздвинув рестораны,
Возле грязного стола,
Словно Суд,
 светло и прямо,
Ма-ма! —
Стала строгая страна,
Брови светлые свела.

Шляпки дам как накомарники,
Наркоманки кофий жрут...
 «Майкл Орлов, лабай Камаринского!»
 Жуть...

«Ма-ма!» — стон над рестораном
 под гармошки и тамтамы —
 «Ма-а...»
Были Миши, Маши, Мани —
 стали Майклы, Марианны.
 «Ма-а...»

Они где-то в Алабаме
 наземь падают ногами,
 прогрызаются зубами —
 к маме.

Рты измаранных, измаянных
сквозь неоны и вольфрамы —
«М а-а...»

А один из Бирмингама,
как теленок из тумана:
«Ма-а-а...»

...Гасят. Мы одни остались,
Лишь в углу мерцает старец,
Как отшельник Аввакум.
Он сосет рахат-лукум.

Сволочь очи подымает.
Человек к дверям шагает.
Встал.

Идет.

Не обернется.

Он вернется?

17 объективов щелкали.

17 раз в дверную щелку
Я вылетал, как домовой,
Сквозь линзу — книзу головой!

Живу. В гостиных речь веду.

Смеюсь остротам возле секса.
Лежат 17 Вознесенских
В кассетах, сейфах, как в аду.

Они с разинутыми ртами,

как лес с затекшими руками,
Как пленники в игре «замри!»,
Застыли двойники мои.

Один застыл в зубах с лангустой.

Другой — в прыжке повис, как люстра.
А у того в руках вода.
Он не напьется никогда!

17 Вознесенских стонут,

они без голоса. Мой крик
Накручен на магнитофоны,
Как красный вырванный язык!

Пусти, красавчик Квазимодо!

Душа горит, кровоточа

От пристальных очей «Свободы»

И нежных взоров стукача.

мотогонок по вертикальной стене

Н. Андросовой

Завораживая, манежа,
Свищет женщина по манежу!
Краги —

красные, как клешни.

Губы крашенные — грешны.
Мчит торпедой горизонтальною,
Хризантему заткнув за талию!

Ангел атомный, амазонка!
Щеки вдавлены, как воронка.
Мотоцикл над головой
Электрической пилой.

Надоело жить вертикально.
Ах, дикарочка, дочь Икара...
Обыватели и весталки
Вертикальны, как «ваньки-встаньки»
В этой взвившейся над зонтами,
Меж оваций, афиш, обид

Сущность женщины
горизонтальная
Мне мерещится и летит!

Ах, как кружит ее орбита.
Ах, как слезы к белкам прибиты.
И тиранит ее Чингисхан —
Тренирующий Сингичан...

СИНГИЧАН: «Ну, а с ней, не мука?
Тоже трюк — по стене, как муха...
А вчера камеру проколола... Интриги... Пойду
напишу по инстанции...
И царапается, как конокрадка».

Я к ней вламываюсь в антракте.
«Научи, — говорю, —
горизонту...»

А она молчит, амазонка.
А она головой качает.
А ее еще трек качает.
А глаза полны такой —
горизонтальную
тоской!

Ж.-П. Сартр

Я — семья
во мне как в спектре живут семь «я»

невыносимых как семь зверей
а самый синий
 свистит в свирель!

а весной
мне снится
 что я —
 восьмой

Противостояние очей

Третий месяц ее хохот нарочит.
Третий месяц по ночам она кричит.
А над нею, как сиянье, голоса,
вечерами

разражаются

Глаза!

Пол-лица ошеломленное стекло
вертикальными озерами зажгло.

...Ты худеешь. Ты не ходишь на завод,
ты их слушаешь,

как лунный садовод,
жизнь и боль твоя, как влага к облакам,
поднимается к наполненным зрачкам.

Говоришь: «Невыносима синева!
И разламывается голова!
Кто-то хищный и торжественно-чужой
свет зажег и поселился на постой...»

Ты грустишь — хохочут очи, как маньяк.
Говоришь — они к аварии манят.
Вместо слез — иллиuminированный взгляд.
«Симулирует», — соседи говорят.

Ходят люди, как глухие этажи.
Над одной горят глаза как витражи.
Сотни женщин их носили до тебя.
Сколько муки накопили для тебя!
Раз в столетие
касается
людей
это Противостояние Очей!..

...Возле моря отрешенно и отчаянно
бродит женщина, беременна очами.

Я под ними не бродил —
за них жизнью заплатил.

.

Левый крайний!
Самый тощий в душевой,
Самый страшный на штрафной,
Бито стекло — боже мой!
И гераней...
Нынче пулей меж тузов,
Блещет попкой из трусов
Левый крайний.

Левый шпарит, левый лупит.
Стадион нагнулся лупой,
Прожигательным стеклом
Над дымящимся мячом.

Правый край спешит заслоном,
Он сипит, как сто сифонов,
Ста медалями увенчан,
Стольким ноги поувечил.

Левый крайний, милый мой,
Ты играешь головой!

О, атака до угара!
Одурение удара.
Только мяч,

мяч,

мяч,

Только — вмажь,

вмажь,

вмажь!

«Наши — ваши» — к богу в рай...

Ай!

Что наделал левый край!..

Мяч лежит в своих воротах.
Солнце черной сковородкой.
Ты уходишь, как горбун,
Под молчание трибун.

Левый крайний!

Не сбываются мечты,
С ног срезаются мячи.

И под краном
Ты повинный чубчик мочишь,
Ты горюешь
и бормочешь:
«А ударчик — самый сок,
Прямо в верхний уголок!»

Елена Сергеевна

Борька — Любку, Чубук — двух Мил,
а он учительку полюбил!

Елена Сергеевна, ах, она...
(Ленка по уши влюблена!)

Елена Сергеевна входит в класс.
(«Милый!» — Ленка кричит из глаз.)

Елена Сергеевна ведет урок.
(Ленка, вспыхнув, крошит мелок.)

Понимая, не понимая,
точно в церкви или в кино,
мы взирали, как над пеналами
шло

таинственное

оно...

И стоит она возле окон —
чернокобая, синеокая,
закусивши свой красный рот,
белый табель его берет!

Что им делать, таким двоим?
Мы не ведаем, что творим.

Педсоветы сидят:

«Учтите,
Вы советский никак учитель!

На Смоленской вас вместе видели...»
Как возмездье, грядут родители.

Ленка-хищница, Ленка-мразь,
Ты ребенка втоптала в грязь!

«О спасибо моя учительница
за твою высоту лучистую
как сквозь первый ночной снежок
я затверживал твой урок
и сейчас как звон вырубалочки
из жемчужных уплывших стран

окликает меня англичаночка —
«проспишь алгебру

мальчуган...»

Ленка, милая, Ленка — где?

Ленка где-то в Алма-Ате.

Ленку сшибли, как птицу влет...

.

Отступление, в которм

рыбак Боков варит суп

Богу — Богово,
А Бокову —
Боково...

Он хохочет оглушительно.
На снегу горят ножи.
И как два огнетушителя
Наши красные носы!

В полушубке, как бульдозер,
Боков в бурную струю
Валит дьявольскими дозами
Рыбин, судьбы, чешую.

Церкви, луковки, картошка,
Ух — в уху!
Головешками галоши
Расплясались на снегу.

Пляшет чан по-половецки.
Солнце красной половешкой.
Боков бешен как шаман.
И бормочет:
 «Ах, шарман...»

(Он кого-то уколошил.
Говорят, он давит кошек.
Ловит женщин до утра,
Нижет их на вертела.)

Но я прощу все сплетни, байки,
Когда, взявши балалайку,
Синеок, как образа,
Заглядится в облака
 и частушка улета
 точно тучка
 золотая
 унесет меня как дым
 к алым туфелькам твоим
 как консерваторской палочкой
 ты прозишься резвым пальчиком
«Милый — скажешь —
 прилечу...»

Чул..

Отступление об от- ступлениях

Болен я. Живу у моря.
Нет «Америки». Умора!

Я живу, счастливый пленный
Обнаглевших отступлений.

Муза мне чаек мешает,
Помогает и мешает.

Ждет редактор Косолапов...

Берег кляксами заляпав,
Мое море отступает,
Точно сцену обнажает —
Душу,
 водоросли,
 песок,

А потом на берег шпарит,
Как асфальтовый каток!

Рублевское шоссе

Мимо санатория
Реют мотороллеры.

За рулем влюбленные —
Как ангелы рублевские.

Фреской Благовещенья,
Резкой белизной
За ними блещут женщины
Как крылья за спиной!

Их одежда плещет,
Рвется от руля,
Вонзайтесь в мои плечи,
Белые крыла.

Улечу ли?
Кану ль?

Соколом ли?
Камнем?

Осень. Небеса.
Красные леса.

Пожар в архитектурном институте

Пожар в Архитектурном!
По залам, чертежам,
Амнистией по тюрьмам —
Пожар! Пожар!

По сонному фасаду
Бесстыже, озорно,
Гориллой
краснозадою
Взвывается окно!

А мы уже дипломники,
Нам защищать пора.
Трещат в шкафу под пломбами
Мои выговора!

Ватман — как подраненный
Красный листопад.

Горят мои подрамники,
Города горят.

Бутылю керосиновой
Взвилось пять лет и зим...
Кариночка Красильниковы,
Ой, горим!

Прощай, архитектура!
Пылайте широко,
Коровники в амурах,
Райклубы в рококо!

О юность, феникс, дурочка,
Весь в пламени диплом!
Ты машешь красной юбочкой
И дразнишь язычком.

Прощай, пора окраин!
Жизнь — смена пепелищ.
Мы все перегораем.
Живешь — горишь.

А завтра, в палец чиркнувши,
Вонзится злей пчелы

Иголочка от циркуля
Из горсточки золы...

...Все выгорело начисто.
Вздыхающих полно.
Все — кончено?

Все — начато!

Айда в кино!

Архитектура — разговор с потомками. Поражает новый Кремлевский дворец. Он породнился с башнями своей юностью, контрастом, этим отвесным ливнем стекла и пилонов. Он символичен.

Лучшие традиции — новаторство. Маяковский и наши новые ближе к Пушкину, чем сотни сюсюкающих ямбами. Пикассо продолжает Тициана и Рублева.

Мне кажется, каждого художника, как рентгеновским аппаратом, нужно проверять этим пронизанным светом сооружением.

Картины? Сюда не вывесишь Лактионова и купеческих багетов.

Стихи? Но всякие ли стихи зазвучат в этих беспощадно алюминиевых интерьерах?

Из самолета

Сверху облачко похоже на парашютный купол. Из него идет дождь. По закону перспективы дождевые линии сужаются к низу, как ослепительные стропы парашюта. Эту иллюзию подчеркивает деревенька, болтающаяся под ним.

Что мне важно в поэзии? Взгляд в душу человека, в себя, в интерьер сознания. Не в форме дело.

Форма должна быть ясной, бездонно тревожной, полной высшего смысла, как небо, в котором только радиолокатор может определить присутствие самолета.

На Енисее

В. Сякину

Летом он плотогон, зимой погонщик собак. Дон-Жуан невероятный.

Сейчас он чистит матросскую бляху и рассказывает, как вез на север молоденькую учительницу.

«И застает нас буран. Так? А буран — значит, лезь в спальный мешок, зарывайся и пережидай. А мешок у нас на двоих один. Так? Вот трое суток и пережидали...»

Хохот заглушает его слова. Мы — ой как понимаем, что значит это «пережидали»... Он очумело озирается: «Да вы что? С кия сорвались? Не трогал я ее. Ведь в беду попали».

И еще долго ошеломленно бранится. Потом выбегает на крыльцо. Слушает луну.

Это уже стихи.

* * *

Шаман стал директором сельпо. Я застал его приколачивающим вывеску: «Советское — значит отличное».

Поселок на Братской

Поселок строителей из типовых шлакозасыпных домиков. Они строятся так: слева — стенка кирпичей, справа — листовая штукатурка, а пустота между ними заполняется шлаком, строймусором...

Некоторые строят свои стихи так: слева — стенка заглавных букв, справа — рифм, а между ними — бог знает что засыпается! При этом забывают, что прекрасные для архитектуры качества — дешево, стандартно — никак не плюс для поэзии.

Эдуардо де Филиппо

Его лицо похоже на суровые выветрившиеся постройки раннего Ренессанса. Говорим о театре «Современник», о Хемингуэе и Пазолини. И вдруг улыбка, странно-за-

стенчивая, скользит по этим грубо высеченным туфовым губам.

— Я должен был ехать обратно. У меня гастроли. Но 1 Мая я хочу встретиться в Москве.

Я улыбнулся ему. Улыбки непереводимы.

Мы были в мастерской одного московского художника. Со стен на нас глядели лики новгородского письма XI века, они странно гармонировали и с современным убранством комнаты, и с шорохом шин за окном.

Я вышел на балкон. Город спал. В доме напротив были погашены окна. Сильный свет юпитера из раскрытой балконной двери бил мне в спину.

Огромная тень моя, гиперболически увеличенная, легла, как на полотно экрана, на стену дома напротив. Она накрывала, объединяла собой десятки окон. В них за перегородками и проемами вершились судьбы, люди жили, спали, целовались запрокинув голову, думали о чем-то своем. У некоторых окна были открыты. Тень вползала в них, как ночной запах табаков и сирени. Их всех объединяла тень.

Я с интересом и тревогой наблюдал за этим, отдельным от меня громадным туманным существом. Под его лохматым владычеством оказались сотни судеб. «Не так-то во ли искусство? — думалось мне. — Оно объединяет людей».

Внизу плыла Москва. Она дышала, растворялась в тумане

Конфедератов тузы бесшабашные
Кривы.
Звезды вонзались, точно собашник,
В гривы!

Польша — шампанское, танки палящая
Польша!
Ах, как банально — «Андрей и полячка»,
Пóшло...

Выросла девочка. Годы горят. Партизаны.
Проволоки гетто,
«как тернии, лоб ей терзали...

Как я люблю ее
еле смеженные веки,
Жарко и снежно, как сны —
на мгновенье, навеки...

Во поле русском,
аэродромном,
Во поле-полюшке
Вскинула рученьки
к крыльям огромным —
П о л ь ш а!

Сон? Богоматерь?..

Буфетчицы прыщут, зардев, —
Весь я в помаде,
Как будто абстрактный шедевр.

Новогоднее письмо в Варшаву

А. Л.

Когда под утро, точно магний,
Бледнеют лица в зеркалах
И туалетною бумагой
Прозрачна пудра на щеках,
Как эти рожи постарели!
Как хищно на салфетке в ряд,
Как будто раки на тарелке,
Их руки красные лежат!

Ты бродишь среди этих блюдищ,
Ты лоб свой о фужеры студишь.
Ты шаль срываешь. Ты горишь.
«В Варшаве душно», — говоришь.

А у меня окно распахнуто
в высотный город словно в сад
и снег антоновкою пахнет
и хлопья в воздухе висят

они не движутся не падают
ждут

не шелохнутся

легки

внимательные

как лампы

или как летом табаки

они немножечко качнутся

когда их ноженькой

коснутся

одетой в польский сапожок...

Пахнет яблоком снежок.

Сирень „Москва—Варшава“

Р Гамзатову

10.III—61

Сирень прощается, сирень — как лыжница,
Сирень как пудель мне в щеки лижется!
Сирень зарёвана,
 сирень — царевна,
Сирень пылает ацетиленом!

Расул Гамзатов хмур как бизон.
Расул Гамзатов сказал: «овезем».

11.III—61

Расул упарился. Расул не спит,
В купе купальщицей
 сирень дрожит.
О как ей боязно!
 Под низом

Колеса поезда — не чернозем.
Наверно, в мае цвести «красивей»...

Двойник мой, магия, сирень, сирень,
Сирень — как гений.

Из всех одна
На третьей скорости цветет она!

Есть сто косулей —
одна газель.

Есть сто свистулек —
одна свирель.

Несовременно цвести в саду.

Есть сто сиреней.
Люблю одну!

Ночные грозди гудят махрово,
Как микрофоны из мельхиора.

У, дьявол — дерево...
У всех мигрень.

Как сто салютов стоит сирень.

12.III – 6

Таможник вздрогнул: «живьем? в кустах?!»
Таможник, ахнув, забыл устав.
Ах чувство чуда, седьмое чувство!..

Вокруг планеты зеленой люстрой
Промеж созвездий и деревень
Свистит
 трассирующая сирень!
Смешны ей — почва, трава, права...

P. S.

Читаю почту: «Сирень мертва».

Стога

Менестрель атóмный,
Галстучек-шнурок...
Полечка — мадонной?
Как Нью-Йорк?
Что ж, автолюбитель,
Ты рулишь к стогам,
Точно их обидел
Или болен сам?

Как стада лосиные,
Спят
 стога.

Полыхает Россия,
Голуба и строга.

И чего-то не выразив,
Ты стоишь, человек,
Посреди телевизоров,
Небосклонов, телег.

Там — аж волосы дыбом! —
Разожгли мастера
Исступленные нимбы
Будто рефлектора.

Там виденьем над сопками
Солнцу круглому вслед
Бабка в валенках стоптанных
Крутит велосипед...

Я стою за стогами.
Белый прутик стругаю.
«Ах, оставьте, — смеюсь, —
Я без вас разберусь!»

Как бы нас ни корили,
Ты, Россия, одна,
Как подводные крылья,
Направляешь меня.

Лешенька

Здесь Чайльд-Гарольды огородные
На страх воронам и ворам.
Здесь вместо радио — юродивый
Даёт прогнозы по утрам.

Пока мы бегали в столовку,
Туманный, как Палеолит,
Юродивый с татуировкой
Чуть не упёр теодолит.

Он весь дрожал от изумления,
Познав чужое божество.
Он трепетал
как заземление
От бьющей молнии в него!

Кругом бульдозеры былинные.
Но будущее чуял он,
Дурак, болотная былиночка,
Антенка сдвинутых времен.

Отступление о частной собственности

Отзовись!

Что с тобою? примчись, припади, расскажи!

Атавизм?..

Или может быть — рак души?..

К лучшей женщине мира,

к самой юной беда добралась.

А была она милая,

С фаюмским сиянием глаз.

Мотоциклы вела,

в них вонзалась и гнулась она,

Как стрела

В разъяренном, ревущем боку кабана!

Начинается с дач,

с лимузинов, с небритых мужей,

Начинается сдача

Самых чистых ее рубежей.

Грузинские березы

У речки-игруньи
у горной глазури —
березы в Ингури
березы в
Ингури

как портики храма
колонками в ряд
прозрачно и прямо
березы стоят

как после разлуки
я в рощу вхожу
раскидываю
руки
и дó ночи
лежу

сумерки сгущаются
надо мной
белы
качаются смещаются
прозрачные стволы

вот так светло и прямо
по трассе круговой
стоят
 прожекторами
салюты
 над Москвой

люблю их невесомость
их высочайший строй
проверяю совесть
белой чистотой

Отступление в ритме рок-н-ролла

Андрею Тарковскому

Партия трубы

Рок-
н-
ролл —
об стену сандалии!

Ром
в рот —
лица как неон.

Ревет
музыка скандальная,
Труба
пляшет, как питон!

В тупик
врезаются машины.
Двух
всмятку —
«Хау ду ю ду?»

Туз
 пик —
 негритос в манишке,
Дуй,
 дуй
 в страшную трубу!

В ту
 трубу
 мчатся, как в воронку,
Лица,
 рубища, вопли какаду,
Две мадонны
 «à la подонок» —
В мясорубочную трубу!

Негр
 рыж —
 как затмение солнца.
Он жуток,
 сумасшедший шут.
Над миром,
 точно рыба с зонтиком,
Пляшет
С бомбою парашют!

Рок-н-ролл. Факелы бород.
Шарики за ролики! Все — наоборот.
Рок-н-ролл — в юбочках юнцы,
А у женщин пробкой выжжены усы.

(Время, остановись! Ты отвратительно...)
Рок-н-ролл.

Об стену часы!

«Я носила часики — вдребезги, хреновые!
Босиком по стеклышкам — ой, лады...»
Рок-н-ролл. По белому линолеуму...

(Гы!.. Вы обрежетеь временем, мисс! Осторожнее!..)
...по белому линолеуму
Кровь, кровь —
червонные следы!

Хор мальчиков

Мешайте красные коктейли!
Даешь ерша!
Под бельем дымится, как котельная,
Доисторическая душа!

Мы — продукты атомных распадов.
За отцов продувшихся —
расплата.
Вместо телевизоров нам — каминь.
В реве мотороллеров и коров
Наши вакханалии страшны, как поминки...
Рок, рок —
танец роковой!

Все

Над страной хрустальной и красивой
Подхихкивая, как каннибал,
Миссисипокый
мессия
Мистер Рок правит карнавал!

Шерсть скрипит в манжете целлулоидовой.
Мистер Рок бледен, как юродивый.
Мистер Рок — с рожей эскалопа.
Мистер Рок — министр, пророк, маньяк;
По проходим
пляшут небоскребы —
Башмаками по муравьям!

Скрипка

И к нему от Андов до Атлантики,
Вся неоновая от слез,
Наша юность...

(«о, только не ее, Рок, Рок, ей нет еще семнадцати!..»)

Наша юность тянется лунатиком...

Рок! Рок!

SOS! SOS!

Секвойя Ленина

В автомобильной Калифорнии,
Где солнце пахнет канифолью,
Есть парк секвой.

Из них одна
Ульянову посвящена.

«Секвойя Ленина?!»

Ату!

Столпотворенье, как в аду.

«Секвойя Ленина?!»

Как взрыв!

Шериф, ширинку не прикрыв,
Как пудель с красным языком,
Ввалился к мэру на прием.

«Мой мэр, крамола наяву.
Корнями тянется в Москву...
У!..»

Мэр съел сигару. Караул!
В Миссисипи
 сиганул!

По всей Америке сирены.
В подвалах воеет население.
Несутся танки черепахами.
Орудует землечерпалка.

.
Зияет яма в центре парка.

Кто посадил тебя, секвойя?
Кто слушал древо вековое?

Табличка в тигле сожжена.
Секвойи нет.
 Но есть она!

В двенадцать ровно ежесуточно
над небоскребами
светла
сияя кроной парашютовой
светя
прожектором ствола
торжественно-озарена

секвойи нет
и есть она

вот так
салюты над Москвою
листвой
таинственной
(висят

у каждого своя Секвойя
мы Садим Совесть Словно Сад

секвойя свет мой и товарищ
в какой бы я ни жил стране
среди авралов и аварий
среди оваций карнавальных
когда невыносимо мне

я опускаюсь как в бассейн
в ее серебряную сень

ее бесед — не перевесть...

Секвойи — нет?
Секвойя — есть!

Люблю Лорку

Люблю Лорку. Люблю его имя — легкое, летящее как лодка, как галерка — гудящее, чуткое как лунная фольга радиолокатора, пахнущее горько и пронзительно как кожура апельсина...

Лорка!..

Он был бродягой, актером, фантазером и живописцем. Де Фалла говорил, что дар музыканта в нем — не менее поэтического.

Я никогда не видел Лорки. Я опоздал родиться. Я встречаюсь с ним ежедневно.

Когда я вижу две начищенные до блеска луны — одну в реке, а другую на небе, мне хочется крикнуть, как лорковскому мальчугану: «Полночь, ударь в тарелки!» Когда мне говорят «Кордова», я уже знаю ее — эти две туманные Кордовы, «Кордову архитектуры и Кордову кувшинок», перемешанные в вечер-

ней воде. Я знаю его сердце, ранимое, прозрачное, «как шелк, колышимое от луча света и легкого звучания колокольчиков». И не знаю вещи, равной по психологической точности его «Неверной жене». Какая чистота, жемчужность чувства! Люблю слушать, как в его балладах

Цыгане и серафимы
Играют на аккордеонах...

Его убили франкисты 18 августа 1936 года. Преступники пытаются объяснить это случайностью. Ах, эти «ошибки»! ...Пушкин — недоразумение? Лермонтов — случайность?!

* * *

Поэзия — всегда революция. Революцией были для ханжества неоинквизиторских тюрем песни Лорки, который весь — внутренняя свобода, раскованность, темперамент. Тюльпан на фоне бетонного каземата кажется крамоллой, восстанием.

Маркс писал, что поэты нуждаются в большой ласке. О какой ласке может идти речь,

когда обнаженное сердце поэта обдирается о колючую проволоку? Когда я думаю о трагическом, гибельном пути поэта, я вспоминаю Элюара, отравленного газом во время первой мировой войны. Фигура задыхающегося поэта символична. Как тут петь, когда дышать нечем!

Хрипло, гневно звучал голос Лорки:

Это не ад, это улица.

Это не смерть, это фруктовая лавка.

Я вижу необозримые миры

в сломанной лапе котенка,

раздавленного вашим блестящим авто.

* * *

Буен, метафоричен был Лорка!

Как мерный звон

колоколов

Шаги тяжелые волов...

С рожденья их душа

дряхла,

Полна презрения к ярмам,

И вспоминает два крыла,
Что прежде били
по бокам.

Метафора — мотор формы. XX век — век превращений, метаморфоз. Что такое сегодняшняя сосна? Перлон? Плексиглас ракеты? Мой мохнатый силовый джемпер по ночам бредит пихтами. Ему снится хвойное шуршание его мохнатых предков.

Лорка — это ассоциации. В его стихах ночное небо «сияет, как круп кобылицы черной». Ветер срезает голову, высунувшуюся из окна, как нож гильотины.

Предметы рождаются, аukaются. Это — как у Пикассо. Хотя бы в его рисунках к Элюару, например. Абрис женского лица переходит в овал голубки. Брови расцветают пальмовой ветвью. А это что? Волосы? Или голубиные крылья?

Мне пришлось видеть и живопись Лорки. В ней, как и в его балладах, сквозит цыгано-испанская грация и изысканность.

В поэзии его живопись бьет через край. Лорка любит локальный цвет. Как пронзите-

лен его зеленый в «Сомнамбулическом романсе».

Люблю тебя в зелень
одетой.

И ветер зелен. И листья.
Корабль на зеленом море.
И конь на горе лесистой.
И зелены волосы, тело,
Глаза серебра

прохладней...
О дайте, дайте подняться
К зеленой лунной ограде!

Как тонко и точно написан лунный свет зеленым, ну «изумрудкой», скажем!

А в «Убийстве Антоньито эль Камборьо» доминирует красный. Тяжелым золотом наливы «Четыре желтые баллады». Но наиболее страшна и сильна гамма лорковского черного в «Романсе об испанской жандармерии».

Черные кони жандармов
железом подкованы
черным.

На черных плащах сияют
чернильные пятна воска.

зыкального слуха, не понимали Лорки. О, эти унылые уши окололитературных евнухов... В стихах есть та особенность, что они, как увеличительное стекло, усиливают чувства слушателя. Если нечего усиливать, поэзия бессильна!

Как прозой объяснить колдовство этих строк:

Пускай узнают сеньоры
о том, что я умер, мама,
пусть с Юга летят на
Север
синие телеграммы!

Тоскую по Лорке.

Тоскую по музыке его, пропахшей лимоном и чуть горящей.

* * *

И еще об одной встрече с Лоркой мне хочется рассказать.

В Чикаго полтора миллиона поляков.

Случилось, что я читал там свою «Сирень» — балладу о неприкаянной, влюбленной, оставившей родину, отправившейся путешествовать сирени.

Комнатку освещает лунный экран телевизора. Звук выключен. Он вместо лампы, этот лиловатый экран с немymi плавающими тенями.

Свет озаряет женскую фигурку на тахте. Она — полька. Она сидит, поджав ноги. Ее родители эмигрировали перед войной в Аргентину. Она тревожна и смята. Освещенная со спины лиловым сиянием, она кажется сама сиренью с поникшими трепетными плечами, лиловыми локонами, серыми туманными зрачками, сама кажется сиренью — потерянной, мерцающей.

Я, сам того не понимая, читаю и про нее, про ее судьбу.

Чем живет она? Что творится у нее на душе? Где соломинка, за которую она хватается в этой пустоте, в этом чужом мире?

Вместо ответа она закидывает голову. Она читает, вернее, не читает, а полупоеет какие-то стихи. Она преображается. Голосок ее прозрачен — он утренний и радостный какой-то.

«Это — Лорка», — отвечает она на мой недоуменный взгляд.

«Ларк?» — переспрашиваю я, не разобрав.
(«Ларк» — жаворонок по-английски.)

«Да, да! Ларк! — хохочет она. — Это моя единственная радость. Не знаю, как бы я была без него... Ларк... Лорка...»

...Его убили 18 августа 1936 года.

* * *

Уроки Лорки — не только в его песнях и жизни. Гибель его — тоже урок. Убийство искусства продолжается. Только ли в Испании? Когда я пишу эти заметки, может быть, тюремщики выводят на прогулку Сикейроса.

Двадцать пять лет назад они убили Лорку.

СОДЕРЖАНИЕ

- 7** **АРХИТЕКТУРНОЕ**
Ночной аэропорт в Нью-Йорке
- 11** **ВСТУПИТЕЛЬНОЕ**
- 13** **ЕЩЕ ВСТУПИТЕЛЬНОЕ**
- 15** Стриптиз
- 17** **ОТСТУПЛЕНИЕ В 17 ВЕК**
Лобная баллада
- 20** **ОТСТУПЛЕНИЕ ДЛЯ ГОЛОСА И ТАМТАМА**
Поют негры
- 22** Нью-йоркская птица
- 24** **ИРОНИКО-ФИЛОСОФСКОЕ**
Антимиры

- 27 ВЕЧЕРНЕЕ**
Гитара
- 29** Бьют женщину
- 31** Осень в Сигулде
- 34** **ОТСТУПЛЕНИЯ В ВИДЕ МОНОЛОГОВ**
- 44** **БИТНИКОВ**
В эмигрантском ресторане
- 49** **ВЫНУЖДЕННОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ**
- 53** **ОТСТУПЛЕНИЕ В ВИДЕ**
мотогонок по вертикальной стене
- 55** **АВТООТСТУПЛЕНИЕ**
- 56** Противостояние очей
- 58** **ФУТБОЛЬНОЕ**
- 61** **ШКОЛЬНОЕ**
Елена Сергеевна
- 64** **ОТСТУПЛЕНИЕ, В КОТОРОМ**
рыбак Боков варит суп
- 66** **ОТСТУПЛЕНИЕ ОБ ОТСТУПЛЕНИЯХ**
- 67** Рублевское шоссе
- 69** **СТУДЕНЧЕСКОЕ, ОЗОРНОЕ**
Пожар в Архитектурном институте
- 76** **ПОЛЬСКОЕ**
- 78** Новогоднее письмо в Варшаву
- 80** Сирень «Москва — Варшава»
- 83** Стога

- 85** **ТАЕЖНОЕ**
Лешенька
- 86** **ОТСТУПЛЕНИЕ О ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ**
- 88** Грузинские березы
- 90** **ОТСТУПЛЕНИЕ В РИТМЕ РОК-Н-РОЛЛА**
- 95** **КАЛИФОРНИЙСКОЕ**
Секвойя Ленина
- 98** **ЛЮБЛЮ ЛОРКУ**

**Вознесенский
Андрей Андреевич**

•

**Редактор
Э. Межелайтис**

**Художник
Вл. Медведев**

**Худож. редактор
К. Буров**

**Техн. редактор
Р. Соколова**

•

**Корректор
Л. Морозова**

**40 ЛИРИЧЕСКИХ
ОТСТУПЛЕНИЙ
ИЗ ПОЭМЫ
ТРЕУГОЛЬНАЯ
ГРУША**

•

Сдано в набор 28/VI 1962 г.
Подписано в печать 20/VIII 1962 г.
A07550. Формат 70×108^{1/32}.
Печ. л. 3½ (4,79). Уч.-изд. л. 2,37.
Заказ 888. Тираж 50 000 экз.
Цена 12 коп.

•

Издательство
«Советский писатель»
Москва К-9.
Б. Гнездииковский пер., 10.

•

Тип. Москва, ул. Фр. Энгельса, 46.

Издательство просит

**читателя
дать отзы
как о содержании книги,
так и об оформлении ее,
указав
свой точный адрес,
профессию и возраст.**

Издательство просит

**библиотечных работников
организовать
учет спроса на книгу
и
сбор читательских отзывов.**

Все материалы

**направлять по адресу:
Москва К-9,
Б. Гнездниковский пер., 10,
издательство
„Советский писатель“.**

12 коп.

советский писатель

Цена 12 коп.

40 лирических отступлений из поэмы „Треугольная груша“ — новая лирическая книга Андрея Вознесенского.

Андрей Вознесенский окончил Московский Архитектурный институт. Начал печататься в 1958 году. В 1960 году вышли две книги поэта — „Парабола“ (издательство „Советский писатель“) и „Мозаика“ (Владимирское книжное издательство).



советский писатель

андрей

ВОЗНЕСЕНСКИЙ

лирических
отступлений
из поэмы
**ТРЕУГОЛЬНАЯ
ГРУША**

